

релома гласного *i* в киданьском языке. Но второй пример, также обнаруженный в китайской глоссе, свидетельствует, наоборот, об отсутствии такого перелома: *шйбак* «попынь» (письменно-монгольское *сйбаб*). Как мы видим, между двумя глоссами имеются диалектные расхождения.

Материалы монгольского языка XIII—XIV вв., которые были открыты позднее, дают возможность для еще более многообещающих выводов. Из них автор уже использовал многое, хотя это было сопряжено с немалыми затруднениями, так как большая часть найденного материала еще не прошла в нужной мере предварительную филологическую обработку, являющуюся предпосылкой для его использования в языковедных целях.

Из надежных форм личных местоимений 3-го лица автор рассматривает следующие (стр. 152): ед. число род. пад. *иу*, дат.-местн. пад. *имадур*, вив. пад. *имаји*; мн. число род. пад. *ану*, вив. пад. *ани*. По новейшим материалам мы можем еще добавить следующие: ед. число дат.-местн. пад. *имада* («Сокровенное сказание»), оруд. пад. *има'ари* («Сокровенное сказание»), исход. пад. *имадача* (китайско-монгольская надпись 1338 г.), совмест. пад. *имаулу-а* (китайско-монгольская надпись 1335 г.); мн. число дат.-местн. пад. *андур* («Сокровенное сказание») и *ана* (документ 1291 г.).

В связи с показателем множественного числа *-н* очень интересно замечание автора о наличии этого показателя в бурятском языке (стр. 133). Можно добавить, что этот показатель множественного числа очень богато представлен в памятниках монгольского языка XIII—XIV вв., как, например, в «Сокровенном сказании», а также в других монгольских текстах в китайской транскрипции и текстах квадратной письменности; можно найти этот показатель и во многих памятниках старописменного монгольского языка. Материал является почти необозримым, и в данном случае вместо подробного рассмотрения этого материала достаточно указать на недавно появившееся предварительное исследование по этому вопросу, содержащее целый ряд значительных наблюдений¹.

Мы бы подчеркнули, что *-н*-овый показатель множественного числа присоединяется не только к именам деятелей на *-ч i*, но к целому ряду других типов имен. В связи с *-н*-овым показателем множественного числа мы часто находим в формах единственного числа дифтонг с конечным неслоговым *i*. Бросается в глаза, что это *i* ~ *и* действительно отражает соответствие единственное число ~ множественное число: *нокай* «собака» ~ мн. число *нокан*; *маузи* «плохой» ~ мн. число *машун*; *кед'и* «несколько» ~ мн. число *кед'ин*; *яб'икуй* «идущий» ~ мн. число *яб'икур*; *какану'ай* «ханский» ~ мн. число *какану'ан* и т. д. Многочисленные примеры ясно показывают, что суффиксы *-тан* и *-тен*, представляющие форму множественного числа, следует непосредственно относить не к основе на *-ту* и *-туй* (конечно, они связаны и с ней), а к основе на *-тай* и *-теи*.

Автор наиболее часто употребительные послелоги основательно рассматривает на стр. 204 и сл. В связи со словами *мет'* и *шингэи* стоит привести и *сими*, найденное в старописменном монгольском языке и обозначающее «как, подобно, вроде». Приводим это слово не только потому, что оно семантически примыкает к *мет'* и *шингэи*, но и потому, что оно связано с последним и этимологически. Слово это встречается несколько раз в монгольском переводе *Bodhicaryāvatara* (*уябсан сими*), V, 56; *дарубсан сими*, V, 12a; *кисен сими*, VI, 122a), в текстах *Subhāṣitaratnaṅgī* (*кядубсан сими*, IX, 8a: 424d), в китайско-монгольской надписи 1338 г. (*кек'дегаргесен сими*), в монгольском переводе Сяо-цзяна (*ојір-а сими*), *вечкик'и сими*), а также и в «Сокровенном сказании» (*'еи шит'*, § 164).

В заключение отметим, что выводы автора опираются на богатый материал; это позволяет нам считать, что рецензируемая книга является значительным событием в монголистике. Мы с большим интересом ждем ее второй, завершающий том.

Л. Ливети

Перепела К. Е. Майтинская

А. И. Ефимов. История русского литературного языка. Курс лекций. — [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1954. 432 стр.

Курс истории русского литературного языка, занимающий видное место в кругу лингвистических дисциплин, наименее обеспечен учебными пособиями. Поэтому выход курса лекций по этому предмету не может не быть воспринят как важное и отрадное явление.

Следует, однако, поставить вопрос, насколько восполняет книга А. И. Ефимова этот осязательный пробел, в какой степени она удовлетворяет настоятельной потребности в учебном пособии по истории русского литературного языка.

¹ См. E. Hae n i s c h, Grammatiche Besonderheiten in der Sprache des Manghol ni nica tobca'an, Helsinki, 1950, особенно стр. 4—13.

Разумеется, было бы излишним ожидать, при нынешнем состоянии разработки этого раздела науки о русском языке, полноценного учебника, который с одинаковой глубиной и обстоятельностью представил бы русский литературный язык на всех этапах его исторического развития, во всем его стилистическом разнообразии. Удовлетворяющим своему назначению в настоящее время может считаться и такое учебное пособие, в котором с методологически верных позиций было бы представлено, пусть в самом общем виде, состояние русского литературного языка — его лексического состава и грамматического строя — на разных этапах его развития применительно к ведущим, основным для данного периода его разновидностям (стилям), дана общая картина развития и становления норм современного литературного языка.

Первая лекция курса А. И. Ефимова посвящена рассмотрению специфики литературного языка, проблеме отношения литературного языка к общенародному языку (а также к диалектам, жаргону, просторечию), вопросу о разновидностях литературного языка, о понятии нормы, об отражении в стилях литературного языка классовых интересов и т. д. Однако, поскольку объектом рецензируемой книги является и с т о р и я русского литературного языка, то очевидно, что перечисленные выше и другие проблемы должны были быть непременно рассматриваться в историческом разрезе. Ведь не только конкретные языковые нормы, состав стилей языка и их взаимоотношения, но и сами эти категории — литературный язык, норма, стиль языка и др. — исторически изменчивы, не равнозначны в разные исторические эпохи. Этот факт не нашел достаточного отражения в книге А. И. Ефимова, вследствие чего многие характеристики и определения, предложенные в первой лекции курса, выглядят внеисторическими и не способствуют пониманию процессов развития русского литературного языка.

Уже само определение литературного языка, как языка «обработанного и творчески обогащенного мастерами слова» (стр. 3 и др.) — определение, возникшее под влиянием известной формулы А. М. Горького, без дальнейшего разъяснения и уточнения не может считаться безусловным и пригодным для всех времен и эпох. Внеисторически звучит и утверждение о том, что «литературный язык — это сложная система стилей», как и само перечисление этих стилей — «художественно-беллетристических, общественно-публицистических, научных, производственно-технических, документально-деловых и т. п.» (стр. 6); см. далее положение о том, что «ведущие стили литературного языка, такие, как стили художественно-беллетристические, общественно-публицистические и др., отличаются общепонятностью и общедоступностью» (стр. 9), что «литературная норма должна быть общенародной, современной» (стр. 14) и т. д. Очевидно, что качества, присущие национальному литературному языку, здесь непропорционально распространены на другие эпохи. В таком же духе решаются в первой лекции и другие вопросы, например, выделение в литературном языке двух его разновидностей — письменно-книжной и устно-разговорной (стр. 10), хотя, как известно, образование устно-разговорной разновидности литературного языка, складывание его норм — явление сравнительно позднее. В связи с этим находится и понимание просторечия как нелитературной речи, следовательно, противопоставленного не только книжной, но и устно-разговорной разновидности литературного языка. Не ко всем периодам в развитии литературного языка относятся также утверждение об общности грамматического строя для всех стилей литературного языка; так, церковно-книжный и деловой стили древнерусского литературного языка, разумеется, отличались друг от друга не только по словарному составу, но и по грамматическим нормам.

Такое лишенное историзма рассмотрение основных понятий и категорий, связанных с литературным языком, не могло, разумеется, не сказаться отрицательно и на изложении самого материала курса.

При дальнейшем рассмотрении материала рецензируемой книги целесообразно выделить разделы, посвященные древнерусскому литературному языку (лекции III—V), поскольку мы сталкиваемся здесь с особыми, специфическими проблемами.

Не может удовлетворить читателя освещение вопроса о происхождении древнерусского литературного языка (лекция III). Эта проблема изложена настолько противоречиво, что невозможно составить даже приблизительного представления о точке зрения автора. Сначала А. И. Ефимов сочувственно цитирует слова акад. С. П. Обнорского о незначительной доле церковнославянского воздействия на древнерусский литературный язык, о том, что «сравнительно немногие слоги их (славянизмов. — В. Л.) прочно вошли в обиход нашего литературного языка» (стр. 69). Вместе с тем автор не менее сочувственно излагает положение акад. В. В. Виноградова о «тесной связи древнерусского литературного языка с языком старославянским», как «международным языком славянской письменности и славянской цивилизации» (стр. 73—74), говорит о том, что «в церковно-литературных жанрах письменности безусловный перевес имели церковнославянизмы» (стр. 74). Наконец, завершая лекцию, А. И. Ефимов солидаризуется со словами А. М. Селишова, который говорил об э л е м е н т а х русского языка, проинвазивших «в язык рукописей, выполнявшихся русскими писцами» (стр. 75),

отчетливо противопоставляя это свое положение точке зрения С. П. Обворского. Создается впечатление, что автору важно было, оставаясь на почве теории С. П. Обворского, избежать в то же время и упрека в недооценке роли старославянского языка. А. И. Ефимову удалось сделать это, но лишь ценою отказа от какой-либо последовательно проведенной точки зрения, при помощи избранного им в данном случае метода — подмены собственного изложения подбором цитат из различных источников¹.

Содержание глав, посвященных древнерусскому литературному языку киевского и московского периодов, составляет преимущественно анализ системы стилей литературного языка соответствующего времени. Это вполне закономерно. Однако принципы выделения стилей древнерусского литературного языка и способ их описания представляются неверными.

При описании системы стилей литературного языка любого периода необходимо, чтобы исследователь определил те группы письменных памятников, язык которых отражает литературный язык, отделив их от тех, которые находятся за его пределами, так как, разумеется, не всякий написанный текст может считаться памятником литературного языка; далее, выделение стилей литературного языка предполагает характеристику языковых особенностей, языковых примет каждого такого стиля, без чего само выделение стиля теряет всякий смысл. К сожалению, оба эти требования не всегда выполняются в книге А. И. Ефимова. Так, в число стилей литературного языка древнейшего периода автор помещает «эпистолярный стиль» (или даже «эпистолярные стили»), имея в виду новгородские берестяные грамоты, хотя совершенно очевидно, что частная переписка древних новгородцев не может рассматриваться как явление литературного языка, будучи лишь отражением, записью разговорно-бытовой речи. Между тем автор считает возможным рассматривать лексику писем как такой материал, который «красноречиво свидетельствует о том, что основа языка древнейшей письменности (разрядка моя. — В. Л.) была русская» (стр. 94). С другой стороны, столь же неправомерно рассматривать как факт русского литературного языка язык богослужебных книг — евангелия, псалтири и др. Это, разумеется, памятники старославянского языка, а не «литургического стиля» русского литературного языка, как утверждает А. И. Ефимов (стр. 77, 94—95).

Стиль языка А. И. Ефимов отождествляет с жанром письменности, независимо от того, обладает ли этот связанный с определенным жанром стиль собственно языковыми признаками или он лишен таких примет. Естественно, что при таком понимании стилей языка само выделение их может покояться на самых различных, нередко случайных основаниях. Так, отличительными качествами «стиля литературно-художественного повествования» объявляются «образно-метафорическая насыщенность слог и выразительный, переносно-фигуральные значения слов, богатая развитая система средств художественной образительности (яркие сравнения, образные эпитеты и т. п.)» (стр. 83). «Летописно-хроникальный стиль», «которым пользовались древнерусские летописцы, отличался как общим строем речи, известной стереотинностью и повторяемостью синтаксических конструкций, самым тоном повествования (иногда, на первый взгляд, спокойно-бесстрастным), так и специфической фразеологией и лексикой» (стр. 88). Но можно ли признать за «специфическую фразеологию и лексику» отмеченные автором выражения «въ се же лето» и «томъ же лѣтъ» или тот факт, что «летописно-хроникальный стиль отличается также обильно представленными диалогами».

«Публицистический стиль» XV—XVI вв. (Пересветов, Иван Грозный) обнаруживается, утверждает А. И. Ефимов, «в гневно-обличительном тоне повествования», в переносно-метафорическом употреблении слов, вопросах, многочисленных сравнениях и образах и т. д. Здесь же, правда, отмечается и языковая примета — употребление «слов, получивших общественно-политический смысл, во что это значит для данной эпохи, понять нельзя, во всяком случае приведенные в книге образцы такого употребления (*меда, златостна, бичахити от нечистого собораня, всахити от слез и от крови роду человеческому*) ничего здесь не разъясняют (стр. 110). Таким же способом выделены и охарактеризованы «стиль челобитных» (стр. 111), «стиль официально-правительственных указов и уложений» (стр. 138), «стиль поучений» (стр. 97), «эпистолярный стиль» (стр. 94) и др.

Таким образом, выделенные А. И. Ефимовым многочисленные «стили» древнерусского литературного языка нередко покоятся на весьма шатком основании; они не охарактеризованы со стороны языка, да это, разумеется, и не могло быть сделано, поскольку большинство их и не имело реального существования как стили или разновидности языка. Понятие стиля языка подменено здесь жанром письменности. Появление в литературе произведения, не вполне укладывающегося в рамки существо-

¹ Книга вообще сверх меры насыщена цитатами, причем иногда эти цитаты заменяют авторское изложение. Какая, например, была необходимость рассказывать о содержании грамматики Смотрицкого словами С. Д. Никифорова из его пособия для студентов-заочников (стр. 131).

вавших уже литературных жанров, означает, по А. И. Ефимову, появление нового стиля. Так, создание «Домостроя» знаменует развитие «стиля правоучительно-бытовой литературы» (стр. 102), в связи с появлением особого жанра литературы — путешествий и географических описаний — формируется новая стилистическая разновидность литературного языка» (стр. 114; разрядка моя. — В. Л.) и т. д. В процессе описания всех этих, многих в большинстве своем, стилей языка они нередко сужаются еще более — до отдельного произведения литературы, причем некоторые обусловленные содержанием памятника языковые или всеязыковые его особенности или факты, свойственные литературному языку вообще, выдаются за приметы стиля. Отсюда — утверждение, что для стиля поучений (образцом которого взято поучение Мономаха с его многими, так сказать, запретительными наставлениями) характерны отрицательные конструкции (стр. 97), замечания об «иммерзационности» в Уложении 1649 г., о наименовании подмосковных сел и посадов в московских грамотах (стр. 104) и др. По этой же причине конструкции с союзом и в начале предложения оказываются специфической особенностью «стиля челобитных» (стр. 112), форма перфекта со связкой во 2-м лице (типа *писал еси*) отмечена в связи с «эпистолярным стилем» эпохи Московского государства и т. д.

Больше собственно-языкового материала находим в анализе «документально-юридического стиля» киевского периода и грамот Московской Руси. Но языковые особенности делового стиля никак не сопоставлены, не соотнесены с особенностями других стилей.

Что дает указание о преобладании в «Русской Правде» полногласных слов над неполногласными, начальных *ро, ло* над *ра, ла*, начального *о* над *е*, на употребление *ж* вместо старославянского *жд*, на наличие в сложном предложении исконно русских союзов и т. д., если мы не знаем, каково место этих фактов в других стилях языка, другими словами, насколько они важны для характеристики именно «Русской Правды». Только посредством сравнительного рассмотрения различных письменных памятников в первую очередь (хотя и не исключительно) относительно одних и тех же фактов языка можно представить литературный язык как цельную, связанную определенными внутренними отношениями систему стилей. В данном случае такими стилистически значимыми, стилистически выразительными языковыми фактами служат прежде всего те, которые отражают отношение к живой народной речи и старославянскому языку, поскольку именно соотношение этих двух языковых «стилей» и служит основанием для разграничения различных стилей в древнерусском литературном языке.

При таком подходе к делу стало бы, например, ясно, что упоминание здесь А. И. Ефимовым о наличии слов с *ж* вместо старославянского *жд* не вполне уместно, так как это явление было характерно для всех стилей, следовательно, для всего литературного языка древнейшего периода. Разумеется, сравнительный анализ языка различных памятников письменности, как представителей различных стилей литературного языка, должен захватывать и грамматику. Почти полное отсутствие этого материала в книге А. И. Ефимова — крупнейший ее недостаток. Единственное замечание, касающееся морфологии литературного языка киевского периода, вызывает сомнение. Речь идет о противопоставлении «светских» и «церковно-богослужбных» стилей древнерусского литературного языка в отношении употребления перфекта и других форм прошедшего времени (аорист, имперфект).

Вряд ли можно думать, что уже в XI—XII вв. имперфект и аорист являются приметой церковно-богослужбной литературы, формами, чуждыми уже русскому языку. Такой вывод не подтверждается фактами, он не разделяется большинством современных исследователей и требовал поэтому от автора более развернутой аргументации.

Особенно отрицательно сказались недооценка грамматических признаков в лекции V, посвященной литературному языку эпохи Московского государства — времени, когда грамматические отличия между государственным (приказным) языком и церковно-книжной разновидностью литературного языка стали особенно резкими и выразительными. Встретившиеся единичные замечания о грамматике мало удачны. Так, замечание о том, что в результате второго южнславянского влияния в XV в. «были введены формы: *ея* вместо *еть*, *мога* вместо *моеть*» (стр. 120), непонятно; формы *ея, мога*, отражающие восточнославянское происхождение старославянских *еА, могаА* как и соответствующие формы прилагательных, известны издавна, уже в памятниках XI в., что же касается написания *мога* вместо *мога* (а не вместо *моеть*), то это, действительно, орфографическое новшество, связанное с так называемым «вторым южнславянским влиянием».

Характеристика отдельных произведений литературы или стилей литературного языка в книге А. И. Ефимова представляется неудачной также и вследствие того, что автор недостаточно строго пользуется имеющейся научной литературой. Разумеется, от автора учебника по истории литературного языка нельзя требовать, чтобы он самостоятельно исследовал все подлежащие рассмотрению памятники письменности; однако мы вправе требовать от него единства взгляда на предмет,

единства метода, определенной целеустремленности при отборе материала, который он извлекает из научной литературы. В книге А. И. Ефимова нередко отсутствует эта целеустремленность. Ср., например, характеристику «Русской Правды», «Слова о полку Игореве»¹, грамот Московской Руси. Автор здесь чересчур зависим от литературы, в частности от работ С. П. Обнорского, Д. П. Якубинского, А. С. Орлова, С. Д. Никифорова, диссертации О. В. Горшковой, по-разному, с различных позиций и с разными задачами подходивших к описанию изучаемых ими памятников. Таким образом, характеристику «стилей» древнерусского литературного языка нельзя назвать удачной. Не спасает положение и то, что автор объединяет выделенные им многочисленные стили в крупные «группы стилей», поскольку и они не наделены какими-либо языковыми приметами. Таких групп для литературного языка эпохи Киевской Руси автор насчитывает две — «свежие стили» и «церковно-богослужебные стили».

По нашему мнению, А. И. Ефимов не имел серьезных оснований отказываться от сложившейся традиции (отразившейся и в действующих программах курса истории русского литературного языка) — разграничивать для литературного языка киевского периода не две, а три стилистических разновидности: язык деловой письменности, литературно-повествовательный стиль (летопись, «Слово о полку Игореве», произведение Мономаха и т. д.) и книжно-литературный (или церковно-книжный) стиль на старославянской основе. Выделение литературно-повествовательного «стиля» целесообразно с различных точек зрения. Эта стилевая разновидность древнерусского литературного языка, служа «мостиком» между двумя крайними стилями языка, тем самым связывает литературный язык в цельную и взаимодействующую своими элементами систему; анализ литературно-повествовательного стиля вскрывает наиболее типичные формы взаимодействия русского и старославянского языков в русской письменности; система стилей литературного языка, принципы разграничения стилей при этом опираются на прочное основание — отношение к народно-разговорной речи и книжно-литературным источникам. Положение о трех стилевых разновидностях древнерусского литературного языка киевского периода должно способствовать пониманию и процесса развития русского литературного языка, раскрытию тех глубоких изменений в системе литературного языка, которые произошли в XIV—XVI вв. — в эпоху Московского государства, когда заметно изменилось отношение традиционного книжного литературного языка к разговорно-обиходной речи, прежде всего в результате изменений, происшедших за этот период в живой, разговорной русской речи. Ведь историю литературного языка составляет картина употребления языкового материала — лексического и грамматического — в различных по характеру памятниках письменности на разных этапах ее развития, представляющая как внутренне связанный, закономерно развивающийся процесс, рассмотренный на фоне истории народного, разговорного языка. Изолировав литературный язык от истории живого, народного языка, сняв этот обязательный общеязыковой фон, автор книги тем самым устранил и свой объект — собственно историю древнерусского литературного языка.

До сих пор мы касались только того раздела книги А. И. Ефимова, который посвящен истории древнерусского литературного языка. Как видно из предыдущего изложения, он представляется нам мало удачным, несмотря на наличие здесь отдельных верных и интересных наблюдений и замечаний. Значительно удачнее раздел, посвященный истории русского литературного языка в XVIII в. Так, значительный интерес представляет лекция VII «Петровская эпоха и ее отражение в литературном языке». Рост словарного состава литературного языка и источники этого роста, новые явления в системе стилей литературного языка, противоречия в развитии литературного языка, связанные с зыбкостью, неупорядоченностью норм, — все это описано на основе значительного материала. К сожалению, автор и здесь верен себе: вопросы грамматики его не интересуют, грамматический материал, использованный в этой лекции, случаен, нехарактерен.

Не во всем удовлетворяет содержательная в общем лекция о Ломоносове (лекция VIII). Перечисляя Ломоносова и перечисление отдельных норм разных стилей не сопровождается ясной и четкой оценкой места и роли теории и практики трех стилей в истории литературного языка, осмыслением их как определенного этапа на пути формирования национального языка, выделением тех положений, значение которых выходит за пределы рассматриваемой эпохи, и отграничением их от тех, которые непосредственно связаны с особенностями литературного процесса середины XVIII в.; не выяснены противоречия, скрытые в самом принципе разграничения литературного языка на «стили», прикрепленные к определенным жанрам — а между тем это способствова-

¹ См., например, несколько неожиданный подсчет употребления частей речи в «Слове о полку Игореве» (стр. 86—87).

ло бы лучшему пониманию дальнейших явлений в области литературного языка, в частности осмыслению реформы Карамзина и существа полемики начала XIX в.

Нормы высокого стиля (стр. 178—179) представлены несколько бессистемно, без необходимого разграничения лексических, морфологических и произносительных норм (о явлениях синтаксиса, весьма существенных для характеристики высокого стиля, автор не упоминает). Судя по порядку, в котором приведены нормы высокого стиля, наличие полигоний, слова с *жд* и *ц* и начальным *е* (*елень*) отнесены вместе с сохранением ударного *е* к явлениям произносительным (фонетическим), между тем как очевидно, что пары типа *золото* — *злато*, *олень* — *елень*, слова с *ч* и *щ* должны рассматриваться в лексике, хотя отличия между ними и восходят генетически к фонетическим процессам. Непонятно замечание о том, что к нормам высокого слога относятся «причастия страдательные в краткой форме и действительные, образованные от слов книжного характера» (стр. 179). По грамматике Ломоносова, именно страдательные причастия прошедшего времени «весьма употребительны как от новых российских, так и от славянских глаголов произведенные» («Российская грамматика», часть пятая, гл. 2, § 446); следовательно, приведенные А. И. Ефимовым в качестве примеров *укреплена* и *окружена* нетипичны. Замечание, что «Тредиаковский и Сумароков неодобрительно отзывались о церковнославянизмах» (стр. 189), чересчур упрощено и прямолинейно представляет существо разногласий между крупнейшими писателями XVIII в.

Вторая половина XVIII в. — важный этап в истории русского литературного языка. К сожалению, весь этот период — от Ломоносова до Карамзина — по существу выпал из поля зрения автора книги, хотя, формально говоря, ему и посвящены две лекции — IX и X. В этих лекциях мы находим интересные и полезные наблюдения и замечания об отдельных сторонах языка этого времени — например, о некоторых особенностях языка произведений Фонвизина, Радищева, о формировании «салонно-дворянского жаргона» и борьбе с ним, — однако мы не обнаруживаем здесь изложения, пусть самого беглого, процессов истории литературного языка, которое придало бы этим отдельным замечаниям и наблюдениям цельность и систематичность. Материал этих двух лекций, сам по себе весьма интересный, оставляет впечатление случайности в курсе.

Так, лекция IX озаглавлена «Социально-речевые стили разговорной речи XVIII века и их отражение в литературном языке». Нельзя не отметить свежести самой темы и значения постановки этого вопроса. Живая речь различных социальных слоев русского общества в ее отношении к формирующимся в этот период нормам национально-русского литературного языка у нас не изучена. Однако приходится с сожалением констатировать, что эта важная и интересная тема переродилась в книге в тему совершенно иного порядка: отражение некоторых черт дворянского просторечия и речи других социальных групп (дворян, солдат, купцов и т. д.) в сатирических «Письмах к Фалалее» и произведений Фонвизина и Плавильщикова.

Большого следовало ожидать и от раздела, посвященного Карамзину. Здесь много интересного материала, характеризующего некоторые особенности языка Карамзина, в частности в области фразеологии: удачен анализ употребляемых Карамзиным сочетаний со словами *море*, *магазин*, *весна*, *рыцарь*, *горизонт* и др. (стр. 230—231), полезны и другие наблюдения над языком Карамзина. Однако о *к о н ц е п ц и* Карамзина, о системе его взглядов на литературный язык, о существе его реформы — не в частности, а в главном, принципиальном, — обо всем этом сказано чересчур бегло и недостаточно систематично; в результате м е с т о Карамзина и карамзинизма в истории русского литературного языка недостаточно выяснено, «реформа» Карамзина в ее отношении к традициям и последующим этапам развития языка не вполне оценена; так, не выявлено, в каких отношениях находится карамзинский язык к практике «трех стилей»; такой показ должен был бы представить язык Карамзина и его школы, как определенный этап в развитии литературного языка.

В изложении взглядов Карамзина и Шишкова есть неточности, например, отношение Карамзина к славянизмам формулируется слишком прямолинейно и упрощенно. Автор далее утверждает, что «стараясь писать так, как говорит, Карамзин равнялся на устную речь. Причем образцами для него служила речь светского общества» (стр. 226). И далее он говорит о том, что Карамзин рекомендовал «учиться образцам литературного выражения у представителей светского общества» (стр. 227). Это в общем верно, но требует оговорки. Стремясь к сближению литературного языка с разговорной речью света, Карамзин понимал под последней не то, что есть, а скорее то, что должно б ы т ь; путь к образованию такого языка должны показать писатели, понимающие, что нужно обществу.

Неверно сказано о Шишкове, будто бы он «отзывается явно неодобрительно о народном языке» (стр. 236). Будучи сторонником разделения языка на «стили», «слоги», Шишков не мог относиться отрицательно к народной речи, используемой в отведенной ей теорией трех стилей сфере. См., например, в его речи при открытии «Беседы»: «Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столь высоком, как священский язык, однако же весьма приятном, и который часто в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие».

Переходя к последним разделам книги, посвященным XIX—XX вв., следует сказать, прежде всего о том направлении, которое принял «Курс» А. И. Ефимова. Большинство лекций содержит рассмотрение языка и стиля или изложение высказываний о языке и стиле отдельных деятелей литературы. Не будем говорить здесь о принципах построения курса истории литературного языка: должен ли он читаться «по авторам» или «по явлениям» — это отдельный и спорный вопрос. Но совершенно бесспорно, что при любом способе это должна быть история литературы русского языка. Язык отдельного писателя, как и его система взглядов на язык, особенно если мы имеем дело с выдающимся писателем, оказавшим влияние на развитие литературного языка, должен быть представлен в контексте литературного языка эпохи. Поэтому наш упрек А. И. Ефимову заключается не в том, что он построил вторую часть своего курса преимущественно как ряд лекций о языке или взглядах на язык отдельных писателей — Крылова, Пушкина, Гоголя, Белинского, Толстого, Горького, — а в том, что извлеченный из произведений писателей языковой материал подан изолированно, не объединен общей идеей, слабо помогает раскрытию и освещению процессов развития самого литературного языка.

Бесспорно далее, что при любом способе построения курса должны быть четко разграничены факты общезыковые и явления индивидуального стиля. Между тем именно с таким смешением общезыковых и индивидуально-стилистических явлений мы нередко сталкиваемся в книге А. И. Ефимова. Типичной в этом отношении является лекция XV — о Гоголе. См., например, рассуждение на стр. 328—329 о сравнении головы с редькой, огурцом и т. д. Ср. также характеристику речи Манилова и Собакевича (стр. 315—316), городничего (стр. 318), утверждение, что Гоголь привлекал украинизмы, «расширяя границы литературного языка» (стр. 323—325; подчеркнуто мною. — *В. Л.*) и др.

Остановимся особо на некоторых лекциях второй части книги. Лекция XIII посвящена Пушкину. В ней представлен значительный материал, приведенные полезные сведения о разных сторонах пушкинского языка и стиля. Однако существующая современная литература о языке Пушкина — работы акад. В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. В. Томашевского, Ю. Тынянова, Ю. С. Сорокина и др. — позволяла ожидать от автора учебного пособия по истории русского литературного языка более содержательного, более насыщенного материалом и выводами очерка.

В частности, хотелось бы найти в книге изложение и оценку системы взглядов Пушкина по вопросам литературного языка и путей его развития, определение места Пушкина в борьбе по вопросам языка, разграничение в первую четверть XIX в.; приведенные в книге отдельные высказывания Пушкина, выхваченные из контекста, не создают, разумеется, такой системы. Так, может ли раскрыть, например, отношение Пушкина к народной поэзии и народному языку несколько паившая ссылка на такие стихи, как

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика и т. д. (см. стр. 257).

Значение Пушкина в истории литературного языка А. И. Ефимов видит в «смешении и объединении крайне разнородных речевых средств» (стр. 262). Пушкин, говорит А. И. Ефимов, «как бы стирал грань между речевыми средствами поэтического характера и прозаического, между слогом высоким и слогом низким» (стр. 264). Однако смешение крайне разнородных речевых средств само по себе вряд ли может быть достоинством художника. Ведь на стр. 236 автор справедливо замечает, что и Ломоносов и Шишков предупреждали «относительно неосторожного сочетания разнородных речевых средств», категорически возражали «против такого смешения». Без необходимых разъяснений и уточнений, без глубокого раскрытия сложности этого процесса объединения, слияния в системе единого национального литературного языка различных стилистических пластов формулировки, вроде приведенных выше, кажутся речесур прямыми, речесур упрощенно представляющими существо дела. Стилистическое разнообразие произведений Пушкина, отражающее сложность темы и ее движение, осталось не раскрытым в книге. Нельзя же представлять себе дело так, будто бы в творчестве Пушкина средства языка потеряли свои стилистические качества, стали одинаковыми и безликими между ними стерлись все грани и различия. При таком понимании невозможно объяснить стилистическое многообразие пушкинского языка, о котором говорится в приведенных на стр. 265 словах акад. В. В. Виноградова¹.

В то же время, однако (и это не показано в книге), стилистические качества определенных фактов языка, лексических и грамматических, могли действительно измениться вплоть до «вейтрализации» соответствующих слов и форм. В главе много удачных примеров, подтверждающих широкое употребление у Пушкина элементов разговорно-бытовой речи. Однако оценка писателя по объему употребляемых им разговорно-про-

¹ См. об этом также в брошюре Б. В. Томашевского «Язык и стиль» (Л., 1952, стр. 18—23).

сторечных элементов не всегда достигает цели: сколько бы ни приводилось таких фактов и примеров из произведений Пушкина, всегда можно заметить, что в комедиях, притчах и других произведениях «низкого штиля» XVIII в., а также и у некоторых современников Пушкина их еще больше. Пушкинское — в новых принципах отбора и употребления народно-разговорной речи, в новом понимании ее места и роли в системе литературного языка, свободном проникновении народной разговорной речи в различные по жанру и общему стилистическому характеру произведения, причем не как средства этнографического расширения, а как важнейшего элемента литературного языка.

Разумеется, раскрытие этих новых принципов требовало, чтобы автор уделил специальное внимание вопросу о новой стилистической системе литературного языка, выработавшейся в пушкинское время, прежде всего, хотя и не исключительно, — в произведениях самого Пушкина. Упоминание об этом на стр. 284 слишком декларативно. Об отношении Пушкина к западноевропейским заимствованиям сказано слишком общо: «Проблему заимствований в русский язык иностранных слов Пушкин решает следующим образом: он одобряет только те заимствования, которые не стесняют свободу развития родного языка» и т. д. (стр. 276). Не может не удивить, что автор не заметил пушкинской проны в известных строках, где описывается наряд Онегина («но панталоны, фрак, жилет...» и т. д.), и всерьез утверждает, что «судя по тексту романа „Евгений Онегин“, поэт отказывается описывать некоторые детали костюма Онегина, мотивируя это тем, что его слог не должен цестреть иноплеменными словами» (стр. 275).

В разделе, посвященном вопросам грамматики в языке Пушкина, встречаются неточности. Так, пример на стилистически мотивированное употребление архаического произношения *e* («Мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный») неудачен по двум соображениям. Во-первых, здесь нельзя доказать произношения *e* или *o* потому, что оба рифмующихся слова можно прочесть и тем и другим способом. Во-вторых, страдательные причастия прошедшего времени, как это было показано еще в старой, напечатанной в 1923 г. работе С. И. Бернштейна «О методологическом значении фонетического изучения рифм»¹, по-прежнему употребляются Пушкиным с *e*, являясь, в отличие от случаев типа *ушёл, идёт* и т. д., нормой книжного языка пушкинского времени; следует добавить еще, что вообще, как показывает материал, произношение *e* вместо *o* (*ё*) не является для Пушкина стилистически применяемым средством.

Значение Пушкина в упорядочении порядка слов в русском литературном языке нельзя установить, как это делает А. И. Ефимов, путем непосредственного сопоставления с Ломоносовым. В период между Ломоносовым и Пушкиным, как известно, осуществлялись карамзинские преобразования в области словорасположения.

Бесспорно лучшими в книге следует признать лекции XVI—XVIII, посвященные вопросам развития публицистического и научного стилей литературного языка во второй половине XIX в., а также проблеме славянизмов в языке этого времени. Положение о ведущем значении публицистики в развитии литературного языка этого периода иллюстрируется новым, свежим материалом. Автор прослеживает зарождение и особенности употребления отдельных слов и целых рядов публицистической лексики и фразеологии, учитывая при этом наличие некоторого своеобразия в словоупотреблении в прогрессивной и реакционной публицистике. Замечания автора об источниках и составе публицистической лексики и фразеологии представляют несомненный интерес.

А. И. Ефимов вводит в научный оборот значительный новый материал, связанный с развитием научной терминологии, причем наибольший интерес представляют, с одной стороны, наблюдения над явлением терминологизации многих общеизвестных, преимущественно книжных, отвлеченных слов, а с другой стороны, — наблюдения над процессом образования переносных значений у многих научных терминов, расширение сферы их употребления. Интересные вопросы подвзаты автором книги в связи с анализом роли и места славянизмов в различных жанрах литературы второй половины XIX в. — в художественной литературе, публицистике, научных работах, официальных документах.

К недостаткам рассмотренных лекций можно отнести не очень строгий отбор материала. В частности, за анализ языка порой выдается анализ содержания; таковы указания на то, что Добролюбов опускает в статье «Русские на Амуре» подробности, известные из газетных сообщений (стр. 335), рассуждение о значении слова *партия* (стр. 340), рассказ Салтыкова-Щедрина о лекции Юркевича, нападшего на материалистов, сравнение обвинителя и проповедника у Кони и приведенная в связи с этим цитата из Духовного регламента Петра (стр. 375) и некоторые другие.

Надо сказать, что факты языка вообще нередко смешиваются в книге А. И. Ефимова с содержанием высказывания; это находит отражение даже в самом употреблении слова *язык*: см., например, на стр. 29 о том, что в языке полемики с единомышленниками «преобладают элементы разъяснения и убеждения»; см. также в последней,

¹ «Пушкинский сборник», М.—Пг., 1922 [обл.: 1923].

ХН1 ленин, чрезвычайно верящую для научной работы формулировку о том, что **п р и в и д и н о с т ь** — это важный признак языка коммунистической пропаганды. Значительный обзор книги А. И. Ефимова, считаю необходимым отметить, что в книге встречаются фактические неточности, ошибки. Так, произведение Карамзина «Пантеон российских авторов» переименовано в «Пантеон писателей российских» (стр. 224), а шишковская «Беседа любителей русского слова» — в «Беседу любителей российской словесности» (стр. 223). Иронические *лошаднее* и *короннее* созданы Шишковым по образцу *человечнее*, а не *трогательнее*, как это сказано на стр. 237. Вопреки утверждению автора на стр. 276, Пушкин нигде не называл брата Льва «институткой». Речь, очевидно, идет о письме от 24 января 1822 г., где Пушкин пишет брату: «Как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не м о с к о в с к а я к у з и н а». На стр. 318 А. И. Ефимов пишет, что Гоголь употреблял многие слова и выражения, включенные в Академический словарь 1847 г. как «просторечные» и «простонародные»; в качестве примера приведены *трухнуть*, *откальвать* (мазурку), *блажь*, *оплеуха*, выражение *губа не дура*. Между тем н и о д н о из этих слов не помечено в Словаре 1847 г. как «просторечное» или «простонародное», причем для *откальвать* приведенное значение не зафиксировано, а выражение *губа не дура* вообще не приведено в Словаре. Очень много ошибок в приведенных в книге текстах из древнерусских памятников.

*

А. И. Ефимов проявил большую творческую смелость, написав первое (если не считать пособия для заочников С. Д. Никифорова) учебное пособие, ставящее задачу относительно систематического изложения курса истории русского литературного языка. Уже это одно заслуживает всяческого поощрения, похвалы и благодарности. Вместе с тем нельзя не видеть крупных недостатков книги А. И. Ефимова. Несомненно, что значительная часть этих недостатков обусловлена неудовлетворительным состоянием самой дисциплины, однако несомненно и то, что многих из них можно было бы избежать даже и при современном уровне науки об истории русского литературного языка. Создание полноценного учебного пособия по истории русского литературного языка и после выхода книги А. И. Ефимова попрежнему остается первоочередной, требующей неотложного разрешения задачей.

В. Д. Левин

Русско-молдавский словарь. 61 000 слов. Под ред. А. Т. Борща, Н. Г. Корлягану, Е. М. Руссева. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1954. 836 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Молдавского филиала АН СССР).¹

В ноябре прошлого года Молдавским научно-исследовательским институтом истории, языка и литературы совместно с Издательством иностранных и национальных словарей выпущен Русско-молдавский словарь на 61 тыс. слов. Выход словаря в свет совпал с празднованием тридцатилетней годовщины Советской Молдавии.

Молдавская общественность с нетерпением ждала появления словаря. Это и понятно: как дореволюционные русско-молдавские словари, так и словари 20—30-х гг., не отвечали практическим нуждам культурного и хозяйственного строительства Молдавии из-за своей устарелости и различных крупных недостатков. Русско-молдавский словарь 1949 г. вследствие своего небольшого объема (этот словарь приближался к типу кратких школьных словарей) также не мог удовлетворить широких запросов языковой практики Молдавии. А между тем можно без преувеличения сказать, что во всех

¹ В статье используются следующие библиографические сокращения: ALRM II — *Micul atlas linguistic român, partea II — de E. Petrovici, Sibiu—Leipzig, 1940* (Малый румынский лингвистический атлас, ч. II). В Атласе отражены молдавские говоры правобережной части МССР.

Словарь Кандри — *Dictionarul enciclopedic ilustrat «Cartea Românească», București, 1931*: *partea I—de I. A. C a n d r e a*; *partea II—de Gh. A d a m e s c u* («Иллюстрированный энциклопедический словарь»); ч. I — И. А. Кандри; ч. II — Г. Адамеску). «Словарь 1949 г.» — «Русско-молдавский словарь», гл. ред. И. Д. Чебан, редакторы-составители: Н. Г. Корлягану и Е. М. Руссев, Кишинев, 1949. *Бидрептар — И о п Д. Ч о б а н у*, Молдавский орфографический словарь [для средней школы] («Бидрептар ортографик пентру школа мичеленгоаре, де 7 ань ши чей мижлочие»), Кишинев, 1949.

Кроме того, даются ссылки на «Русско-румынский словарь», (сост. Н. Г. Корлягану и Е. М. Руссев, М., 1954) и на «Румынско-русский словарь» (под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальчи, М., 1953).